

ПЫЛЬ ¹⁾.

Романъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

— Нѣтъ, ты мнѣ скажи, что же это такое? Понимаешь, вотъ не могу понять. Неужели на нее такъ подѣйствовала наша неудача? Объясни мнѣ, ради Бога. Была неудача—вѣрно, но развѣ изъ-за этого надо отъ всего дальнѣйшаго отказываться? Была неудача—правильно, и я виновать. Подожди, подожди, не перебивай меня: это ужъ фактъ: моя вина! Я могъ бы остаться на своемъ мѣстѣ. Задавили бабу,—такъ что же? Не въ этой бабѣ суть, а во мнѣ. Я виновать, чувствую это, покоя себѣ не нахожу и такъ размышляю и этакъ и все къ одному прихожу: моя вина. Не легко было прійти къ такому выводу. Ладно, ну, и ругайте меня, злитесь на меня, но не отказывайтесь же изъ-за этого. Гдѣ сказано, что и впредь не повезетъ намъ? Вотъ объясни мнѣ по-хорошему, почему она не хочетъ поѣхать. Все вмѣстѣ дѣлали, вмѣстѣ болѣли однимъ—и вдругъ врозь. Почему такъ? Въ одинъ день. Въ понедѣльникъ еще съ нами была, а во вторникъ отъ всего отказалась: отъ насъ, отъ дѣла. Сегодня нравится, а завтра не нравится. Понять не могу, понимаешь, понять не могу. Вотъ хожу, какъ опалѣлый, и не могу прійти въ себя. Ударили меня ея слова, какъ будто кто-то подошелъ сзади и полѣномъ меня по затылку. Держусь за ушибленное мѣсто и не понимаю, за что огрѣли, за какія такія дѣла. Шатаюсь я, понимаешь, Александръ, какъ пьяный, а вѣдь, кажется, я не изъ слабыхъ, привыкъ къ ударамъ, а видишь, зашатался.

Замолкъ и жалобно улыбается. Акимъ и жалобная улыбка—какъ это не вяжется.

¹⁾ Продолженіе. См. Русская Мысль 1915 г., кн. I и II.

— Акимъ!

Онъ вострепнулся.

— Что?

— Ты бы...

Я ищу слова, мнѣ трудно говорить. Не знаю, быть можетъ, я боленъ, всѣ эти дни было сыро, холодно, дождь пробирался за воротникъ, колючія струйки стекали по тѣлу. Я забылъ слова. Акимъ ждетъ: вѣдь я ему хотѣлъ что-то сказать.

— Ты бы... поговорилъ съ Эстеръ, спросилъ бы... Конечно.

— Я говорилъ.

— Что же?

Онъ болѣзненно морщитъ лобъ.

— Отвѣтила мнѣ. Говоритъ, что мнѣ этого не понять, что я чужой.

— Чужой?

Еще мигъ—и я закричу. Надо уйти къ себѣ, остаться одному, быть въ тишинѣ, а здѣсь душно, люди курятъ, пьютъ, смѣются, звенятъ стаканы, шаркаютъ ноги.

II.

— Ты ему такъ и сказала, что онъ чужой? Да?

Эстеръ молчитъ. Я продолжаю:

— Почему Акимъ чужой, а не я?

— Я уже тебѣ говорила.

— А третьяго дня, недѣлю тому назадъ онъ не былъ чужимъ?

— Всегда былъ чужимъ.

Спокойно и прямо глядитъ мнѣ въ лицо, только губы побѣлѣли. Я низко опускаю голову, не знаю, куда дѣть руки, ноги. Мнѣ тяжело выпрямиться. За стѣной стучитъ молотокъ: Акимъ заколачиваетъ ящики. Вчера мы рѣшили, что безъ фотографіи нельзя переѣхать въ К. Днемъ Акимъ составилъ объявленіе о закрытіи фотографіи, завтра это объявленіе появится въ газетѣ. Акимъ раньше всѣхъ уѣдетъ въ К., будетъ снята новая квартира, станутъ приходить новые посѣтители, будутъ новыя улицы, я поселюсь въ новой гостиницѣ и...

— Слышишь?—шопотомъ спрашиваю я Эстеръ и прислушиваюсь, какъ чутко и увѣренно выстукиваетъ молотокъ.

— Слышу.

— Это Акимъ работаетъ. Въ субботу уѣзжаетъ.

— Знаю.

Въ ея голосѣ неприкрытая враждебность. Я пытаюсь за-смѣяться:

— Национальная вражда?

Молчить. Я еще ближе подвигаюсь къ ней.

— Не ѣдешь? Акимъ чужой, дѣло чужое? Эстеръ еврейка, а потому...

Горестно перебиваетъ меня:

— Развѣ ты не понимаешь, почему я отказываюсь ѣхать, почему я не могу поѣхать?

Опять вздрагиваютъ синія жилки подъ ея подбородкомъ, точно такъ же, какъ вздрагивали въ день ея пріѣзда изъ Лондона, и тотчасъ же я догадываюсь, что надо спросить:

— Это давно началось?

Она ничего не отвѣчаетъ, только глубоко вздохнула. Миѣ кажется, что такъ вздыхаетъ человѣкъ, освободившись отъ огромной, ненужной тяжести, и я еще настойчивѣе спрашиваю:

— Въ Лондонѣ? Послѣ того разговора?

— Раньше.

Стучитъ молотокъ. Вѣтеръ зашумѣлъ за окномъ, не то завылъ, не то заскулилъ, какъ обиженный бездомный щенокъ.

— Раньше. Уже давно, Саша. Потомъ все больше и больше. Помнишь разговоръ о рабочихъ? Помнишь, Акимъ говорилъ, что это наша цѣлина и нельзя ее попирать? Надо ѣхать въ К., а тамъ три четверти жителей евреи. Подумай. Это вѣдь искра для пожара... Со всѣхъ сторонъ загорится. Набросятся, какъ волки, сдавятъ со всѣхъ сторонъ и бить будутъ, убивать. Погромъ будетъ. На всѣхъ упадетъ, все населеніе еврейское. Это тоже цѣлина, моя цѣлина. Не могу... Давно началось, еще до Лондона. Послѣднее пришло—это К., и я больше не хочу. К.— это послѣдняя ступенька, и я не переступлю ея, я не поѣду туда. Знаешь, бываютъ минуты, когда приходится особенно глубоко подумать, и тогда заглядываешь во все, повсюду, и тогда нельзя лгать себѣ, тогда широко раскрываешь глаза и все видишь. Знаешь, вотъ идешь по дорогѣ, попадается одно препятствіе, другое, преодолѣешь ихъ, идешь дальше и вдругъ видишь пропасть, огромную, глубокую, и сразу ясно становится, что шель не по той дорогѣ. Пропасть расколола ее надвое. Тогда что, Саша? Въ пропасть? Милый, нельзя въ пропасть, нельзя. Не страхъ за свою жизнь, ахъ, это мелочь въ сравненіи съ другимъ. Подумай, десятки жизней? Ты меня слушаешь?

— Слушаю.

— Подходишь къ такой пропасти, и все, что позади, сразу озаряется. Все тогда понимаешь. Что оставилъ, отъ чего ушелъ. Не только боязнъ уничтожить десятки жизней—любовь къ нимъ.

Моя цѣлина, Саша. И твоя и Бориса. Кровная, родная. Народъ нашъ. Тысячи нитей, и онѣ связываютъ насъ съ нимъ. Не могу... Будутъ убивать, мучить. Вѣдь это мое. Будутъ бить Залмана, Шолома—это меня будутъ бить; насиловать Хая, Лею—меня. Не могу, не поѣду! Саша, только что ты усмѣхался и, усмѣхаясь, сказалъ: національная вражда. Ты смѣялся, а я...

Встаешь.

— Посмотри на меня: я не смѣюсь. Видишь, я не смѣюсь. Вражда? Да! Онъ говоритъ, что надо ѣхать въ К. Скажи ему, что погромъ неизбеженъ. Что онъ отвѣтитъ тебѣ? Онъ тебѣ скажетъ: глупости. Нѣтъ, ты долженъ сказать ему. Ты внимательно смотри на него, когда онъ будетъ говорить съ тобой. Онъ не запнется, онъ скажетъ, что такъ надо. Онъ даже не поморщится. Онъ—чужой. Не поморщатся другіе—десять, двадцать Акимовъ. Всѣ чужіе. Почему ты не глядишь на меня, Саша?

Я поднимаю голову. Молотокъ стучитъ, не переставая, и вдругъ къ нему присоединяется новый звукъ: Акимъ что-то насвистываетъ. Мы оба прислушиваемся, и внезапно Эстеръ съ силой дергаетъ меня за плечо:

— Слышишь, онъ свиститъ? Слышишь, Саша, они насъ никогда не любили, они насъ не любятъ.

III.

До утра мы просидѣли въ лѣсу. Эстеръ попросила меня куда-нибудь пойти съ ней:

— Пойдемъ, куда хочешь, только не сидѣть въ этомъ домѣ.

Мы ушли, оставили Акима съ его ящиками. За городомъ зачернѣлъ лѣсъ. По знакомой тропинкѣ я повелъ Эстеръ. Было холодно. Я укрылъ ее своимъ пальто, но она все же дрожала. Я глядѣлъ, какъ таетъ день, какъ робко идетъ вечеръ, и такъ же робки были мои мысли о Эстеръ, о самомъ себѣ. Когда въ сумерки сквозь деревья замелькали огоньки слободки, я вспомнилъ Бориса и только тогда понялъ, что отказъ Эстеръ—это явь, и что съ сегодняшняго дня я перешагнулъ какую-то черту. Хотѣлось спросить себя: заповѣдную? Было глухо и жутко на душѣ. Я обернулся къ Эстеръ: она плакала, спрятавъ лицо въ воротникъ моего пальто. Я пошевелинулся. Она освободила лицо и спросила:

— Куда ты? Не уходи.

Схватила мою руку.

— Пожалѣй меня.

...Въ осеннюю ночь лѣсъ шумитъ особымъ шумомъ—тревожно-грустнымъ. Въ осеннюю ночь лѣто хоронитъ себя въ лѣсу, и листья и вѣтви никнутъ отъ жалости. Жутко, когда плачетъ взрослый человѣкъ, страшно, когда плачетъ женщина. А лѣсъ шумитъ, не переставая. Все—дѣйствительность. Я и Акимъ везли чемоданы, стучали колеса, въ М. насъ ждали Борисъ и Эстеръ, Нина въ Парижѣ читала мое письмо, губернаторъ принималъ рапорты чиновниковъ, и гдѣ-то Шурка звалъ: папа. Изъ синагоги шли молящіеся, еврей въ гостиницѣ говорилъ мнѣ „ваше благородіе“. Все дѣйствительность. Эстеръ отказывается ѣхать, Акимъ заколачиваетъ ящики, нѣсколько дней тому назадъ я сидѣлъ у окна гостиницы съ снарядомъ, а сегодня провожу ночь въ лѣсу и слушаю, какъ плачетъ Эстеръ. Она проситъ: пожалѣй меня. Ее пожалѣть, пожалѣть жителей города К., Бориса пожалѣть, рабочихъ, пожалѣть лошадь губернатора. (Ее тоже надо пожалѣть, вѣдь она тоже будетъ убита.) Нисходящія ступени жалости. Все—дѣйствительность. И все жалость?

— Эстеръ, тебя пожалѣть, себя пожалѣть, лошадь пожалѣть? Она испуганно вскрикиваетъ:

— Что съ тобой?

— Со мной? Ничего.

— Тебѣ холодно.

— Ничуть.

— Неправда. Я вижу, что тебѣ холодно. Прижмись ко мнѣ, согрѣйся.

— Эстеръ, ого, и тутъ жалость?

— Да... Нѣтъ... Больно за тебя, Саша, за тебя. Бѣдный ты мой... Жалкій мой, жалкій... Милый... жалбю и плачу надъ тобой... Не уѣзжай, не надо... Пока не поздно... Ты себя не знаешь... Саша, мы всѣ запнулись... Мы—трое... Объ огромный камень. А ты хочешь оттолкнуть его... Этого... не можетъ сдѣлать человѣкъ, а ты хочешь... Сломить тебя, согнетъ...

Рѣзко отбрасываю ея руку.

— Рано ты меня хоронишь.

Словно невинно наказанный ребенокъ, она всхлипываетъ безнадежно.

IV.

Если все жалость, то я перешагну черезъ нее. Я тороплю Акима:

— Можно обойтись безъ фотографіи.

— Нельзя безъ нея,—упорствуетъ Акимъ.

— Ничего подобнаго. Ты всегда говорилъ, что надо какъ можно проще, поменьше маскарада. Не такъ ли?

— Такъ-то такъ. Но...

Я вижу, онъ хочетъ что-то сказать, но не рѣшается. Я помогаю ему:

— Я слушаю, говори.

— Видишь ли, можно и безъ фотографіи, но если Эстеръ поѣдетъ...

— Ты еще надѣешься?—спрашиваю я насмѣшливо и не стараюсь скрыть насмѣшки.—Надъ ней надо крестъ поставить.

Онъ быстро, быстро мигаешь глазами. Я отворачиваюсь, я не могу этого видѣть. Если бы онъ зналъ, что она говорила.

Тороплю Бориса, Акима. Изъ-за фотографіи боюсь пробить лишннихъ три дня и отказываюсь отъ нея. Борису нездоровится, онъ еле ходить, а я уговариваю его ѣхать поскорѣе. Каждый день кажется мнѣ длиннѣе ночи, а ночь — безконечной, какъ уходящая даль неба. Утромъ я жду съ нетерпѣніемъ вечера, а вечеромъ считаю удары часовъ, и тогда мнѣ кажется, что кто-то мнѣ на зло лѣзнитъ отбивать часы. Когда наступаетъ ночь, я засыпаю быстро, сразу и снова не вижу, но все, происходящее днемъ и вечеромъ, я принимаю, какъ сонъ и какъ во снѣ хожу по мокрымъ улицамъ, заглядываю въ чужія освѣщенные окна. Такимъ же чужимъ окномъ, но темнымъ, я считаю Эстеръ. Я пересталъ заглядывать въ него. Она остановилась предъ камнемъ, я отброшу его. Все это время я спокоенъ, только почему-то все чаще и чаще вспоминаю Нину, Шурку и Парижъ. И этого не нужно. Нѣтъ Нины, нѣтъ Шурки. Я самъ ихъ оставилъ, ушелъ и самъ же долженъ уничтожить въ себѣ всякую память о нихъ. Когда я вспоминаю Нину, я забываюсь, я становлюсь растеряннымъ, вмѣсто словъ Акима о паспортахъ, о будущей квартирѣ, я слышу другія и вижу аллеи парижскаго парка, синій конвертъ на подушкѣ Нины, ея косы. Это слабость, а я не хочу ея. Эстеръ говоритъ, что мы споткнулись о камень. Нужны силы оттолкнуть его. Я оттолкну.

Тороплю Акима. Онъ утѣшаетъ меня:

— Мы не опоздаемъ.

Мнѣ не нужны его утѣшенія, я самъ знаю, что мы не опоздаемъ. Почти съ ненавистью взглядываю на него, но тотчасъ же ловлю себя на этомъ, и мнѣ становится стыдно, совѣстно, мнѣ хочется чѣмъ-нибудь заглядить, что-нибудь сказать ему хорошее, ласковое, но молчу, словно я позабылъ всѣ слова и потерялъ всю любовь къ нему.

Тороплю Бориса, и, когда я твержу: „надо скорѣе, скорѣе уѣхать“,—онъ мнѣ отвѣчаетъ:

— Мы съ тобой помѣнялись ролями.

— Какъ такъ?—спрашиваю я небрежно.

— Вспомни, какъ въ Парижѣ я тебѣ говорилъ то же самое?

— Что же слѣдуетъ изъ этого?

— Помнишь, когда это было? Я сказалъ тебѣ, когда мы услышали про Бергмана. Помнишь? А я это говорилъ тебѣ со страху. Понимаешь, я испугался и заторопилъ тебя. Мнѣ казалось, если мы сейчасъ не уѣдемъ, то я... то я останусь. Господи, вѣдь это я... со страху. Такъ гонить лошадей перепуганный ямщикъ... Вѣдь это какъ у меня было... Боязнь, что силъ нехватить и останешься. Зачѣмъ ты торопишь? Саша, ты себя не видишь... Это боязнь будущаго...

— Перестань!—говорю я шопотомъ.

— Не надо ломать себя, нельзя ѣхать.

— Ради Бога перестань, — повторяю я. — Это неправда. Если и ты трусишь,—оставайся съ Эстеръ.

Онъ умоляюще протягиваетъ руки, точно защищаясь отъ удара.

Ухожу отъ него.

Въ городскомъ саду тѣ же воробы, та же слизко-зеленоватая скамья, тѣ же дорожки, та же куча сырыхъ опавшихъ листьевъ. Все по-старому.

Вечеромъ въ фотографіи я отзываю Бориса и спрашиваю:

— Ёдешь или не ёдешь?

— О чемъ вы шушукаетесь?—кричитъ Акимъ.

Я, смѣясь, отвѣчаю:

— Заговоръ противъ тебя.

А Борису быстро говорю на ухо:

— Отвѣтъ сейчасъ же... Не можешь? Колеблешься?

— Ёду.

Онъ отвѣтилъ съ усиліемъ. Пусть, мнѣ все равно, но зато мы ѣдемъ.

V.

Акимъ и Борисъ уѣзжаютъ ночью, Акимъ не прощается съ Эстеръ.

— Не могу, что-то мѣшаетъ мнѣ, — говоритъ онъ. — Хотѣлъ себя заставить, даже ругалъ себя не разъ, а не идетъ. Не могу— и только. Не обиженъ я, ну, считаетъ чужимъ, Богъ съ ней, хоть это и чудно, вѣдь вмѣстѣ на одной полочкѣ сидѣли, а другое тутъ, посерьезнѣе обиды. Что-то нутряное, непонятное, но крѣп-

кое. Вотъ оно и не позволяетъ. Вѣришь? Право, не обида и не потрясенное самолюбіе.

Гляжу на него, онъ старается быть веселымъ, и думаю: рассказать ему или не рассказать? Откажется поѣхать?

— Акимъ.

— Что?

Нѣтъ, не надо говорить. Пусть все остается попрежнему... иначе у меня нехватитъ силъ.

Да, я знаю, и это ясно, я побоялся рассказать Акиму, да, всё мы шатаемся. Онъ уѣхалъ. Я увижу его только черезъ недѣлю, тогда уже будетъ поздно. Тогда онъ не броситъ дѣла, сочтетъ это позоромъ, даже если согласится съ Эстеръ. Поздно—и это я зналъ, какъ знаю другое: я одинъ. Эстеръ отошла, Борисъ поѣхалъ, насилуя себя; Акимъ... Я не увѣренъ, что завтра онъ не отшатнется. Я одинъ. Но и путь одинъ, нѣтъ другого. Я пройду его, я долженъ пройти и, если бы я вѣрилъ въ Бога, я бы сейчасъ молилъ обо одномъ:

— Дай мнѣ силы дойти.

VI.

На окнахъ фотографіи бѣлѣютъ ярлычки о сдачѣ квартиры, Эстеръ временно въ какой-то гостиницѣ. Я не знаю, когда и куда она ѣдетъ. Поздно вечеромъ она стучится ко мнѣ. Я, не удивляясь, впускаю ее. Я ей говорю, что уѣзжаю завтра, гдѣ-нибудь пробуду 6—7 дней, а затѣмъ прямо въ К. Она осматриваетъ мою комнату, перелистываетъ книгу на столѣ, потомъ открываетъ окно и спрашиваетъ:

— Ты отсюда хотѣлъ бросить?

— Да.

Перегибается и глядитъ на улицу. Долго, долго, а когда я окликаю ее, она, не оборачиваясь, проситъ:

— Поѣдемъ со мной.

Я коротко отвѣчаю:

— Я ѣду въ К.

Она объясняетъ мнѣ:

— Ты меня не понялъ. Не то. Я знаю, ты ѣдешь все равно. Я тебя о другомъ прошу. Тебѣ безразлично, гдѣ пробыть эти шесть дней, а мнѣ... нѣтъ... Такъ побудь со мной. Вотъ только эти дни. Но не здѣсь. Я здѣсь, какъ въ тискахъ. Все напоминаетъ. Поѣдемъ со мной. Вѣдь мы навсегда расстаемся, а я

такъ не могу. Я хочу, чтобы ты меня выслушалъ. Ты долженъ меня выслушать. Подожди, я знаю, что ты хочешь сказать: все равно, будетъ одно и то же. Возможно. Но поѣдемъ со мной. Ты не бойся... не уговаривать, не убѣждать... Я зову тебя не для этого.

Я молчу. Она робко спрашиваетъ:

— Не хочешь?

Вся потемнѣла. Но я не поѣду: мы уже достаточно говорили, и послѣдніе дни до К. я хочу побыть безъ словъ и безъ думъ.

— Излишне,—отвѣчаю я.

— Для кого?

Равнодушно отвѣчаю:

— Для меня.

— А если я ради себя прошу? А если я тебя...

Не докончивъ, роняетъ голову на подоконникъ.

...Тихо успокаиваю ее, тихо провожу рукой по ея волосамъ и, слушая, какъ она заглушенно плачетъ, говорю ей о томъ, что поѣду съ ней, что я готовъ все выслушать. Говорю ей о Парижѣ, о каптанахъ въ паркѣ, безсвязно, запутанно, о своемъ письмѣ къ Нинѣ, зову ее на улицу, такъ какъ уже поздно и неудобно оставаться въ гостиницѣ, и вновь повторяю, что поѣду съ ней, куда хочетъ, поѣду, выслушаю... поѣду...

VII.

Эстеръ спрашиваетъ, есть ли у меня паспортъ на имя еврея. Я ей показываю бумажку, гдѣ я зовусь Айзикомъ Блумбергомъ, виленскимъ мѣщаниномъ. Тогда она говоритъ, что хочетъ поѣхать со мной въ какое-то мѣстечко, что ей не хочется быть въ городѣ. Мнѣ все равно, куда. Мѣстечко ли, городъ ли, все это такъ безразлично. Она спрашиваетъ меня, смѣюсь ли я надъ ея желаніемъ побыть среди евреевъ. Нѣтъ, не смѣюсь, но я такъ же покорно поѣхалъ бы въ русскую деревню. Именно со мной она хочетъ. Хорошо, я ѣду. Не думаю ли я, что она это дѣлаетъ намѣренно, ради какихъ-то опытовъ? Нѣтъ, не думаю, вѣдь въ К. тоже евреи. Я ни о чемъ не думаю, я засну, когда застучатъ колеса, они мнѣ опротивѣли,—еще такъ недавно они стучали о другомъ, а гдѣ проснуться—не все ли равно? Радъ ли я увидѣть Днѣпръ? Днѣпръ? А развѣ К. не на Днѣпрѣ?... Это мѣстечко въ другой губерніи, въ смежной. Такъ?... Значить, недалеко отъ К.? Хочу ли я подальше отъ К.? Я отвѣчаю:

— Какъ ты хочешь.

Это мѣстечко она знаетъ, когда-то была тамъ. Тамъ еще сохранились соломенные крыши и наивныя мѣстечковыя дѣвушки. Мѣстечко въ десяти верстахъ отъ желѣзной дороги, придется взять лошадей... Развѣ не всѣ мѣстечки одинаковы, не всѣ лежать далеко отъ рельсъ? Не всѣ похожи другъ на друга, какъ бобы изъ одного стручка?

Качается вагонъ, качаются скамы, лица пассажировъ... Хочу ли я спать? Очень. Она мнѣ мѣшаетъ? Ничуть. Почему же я не сплю? Не знаю...

— Спи, а я почитаю немного.

Въ одной рукѣ книга, а другую положила на мое плечо. Она сидитъ возлѣ меня, на той же скамьѣ. Дребезжать стекла. Остановка... Чужіе крикливые голоса.

— Приѣхали?—спрашиваю я.

— Что ты? Еще далеко.

Нагнулась ко мнѣ, что-то поправила подъ изголовьемъ, и на мигъ задержалась маленькая, твердая рука. Ёдемъ дальше. Вновь остановка. Другая...

И, открывая глаза, вижу склоненную голову Эстеръ и одну и ту же неперевернутую страницу.

VIII.

Все, что говоритъ Эстеръ, я выслушиваю. Иногда молча, иногда отвѣчаю, но всегда равнодушно. Я вижу, какъ это ей больно. Порой у нея вырывается:

— Что же ты молчишь?

Но тотчасъ же нѣжно-боязливо говоритъ:

— Ну, хорошо, хорошо. Не надо.

И улыбается, а я понимаю, что ей хочется плакать и съ тоской глядѣть на убѣгающую дорогу, но я никакъ не могу помочь ей. Я чувствую, какая у меня вялая рука. Мнѣ даже трудно пожать ея руки въ тѣ минуты, когда она съ болью сплетаетъ ихъ вокругъ колѣнъ. Мнѣ кажется, у меня и взглядъ вялый. Я съ безразличіемъ пропускаю мимо себя поля съ запоздалой рожью, домики, похожіе на сказочные, золотистый отблескъ осеннихъ листьевъ. Мнѣ все равно, куда глядѣть и что видѣть. Такимъ же взглядомъ я гляжу на Эстеръ. Я вижу ея муку, ее бы могъ увидѣть даже слѣпой, знаю и помню, что это страдаетъ Эстеръ— и нѣтъ во мнѣ ни одного душевнаго движенія, съ которымъ я могъ бы подойти къ ней. Только когда она плачетъ, я иногда теряюсь. Тогда я отчетливо вспоминаю плачь Шурки и стукъ парижскаго дождя о стекла автомобиля.

Я живу у какой-то черной, как пегритянка, еврейки. Въ другомъ домикѣ, рядомъ, поселилась Эстеръ. Она сняла комнату надолго, и моя хозяйка зоветъ ее учительницей. Я, повидимому, считаюсь женихомъ Эстеръ и, когда мы проходимъ по улицѣ, на насъ указываютъ пальцами, а дѣвушки отворачиваются, смѣясь. Къ восьми часамъ вечера все мѣстечко засыпаетъ. Тогда только изрѣдка лаютъ собаки, и ничѣмъ ненарушаемая тишина виситъ отъ неба до земли. На небѣ торопливо бѣгутъ облака, беспокойно мерцаютъ осеннія пугливыя звѣзды, а на землѣ тихо, какъ на кладбищѣ. Осень какъ будто притаилась—замолчали дожди, гдѣ-то спрятался холодъ. Мелькомъ показывается вѣтеръ. Пошумитъ немного, поворчитъ и тоже спрячется. Когда темно становится, Эстеръ стучитъ въ окно. Я выхожу къ ней. Можно говорить громко, можно кричать—никто не услышитъ, нигдѣ не скрипнетъ дверь. Но днемъ я живу точно подъ стекломъ, сотни вопрошающихъ любопытныхъ глазъ ощупываютъ, изучаютъ, приглядываются. Не понимаю, зачѣмъ Эстеръ привезла меня сюда; днемъ мы оба подъ стекляннымъ колпакомъ. Но мнѣ все равно, все равно, гдѣ бѣгутъ часы.

Сегодня пятница. Лишь темнѣетъ, повсюду загораются свѣчи. Отъ домика къ домику потянулась тонкая, свѣтлая лента, точно кто-то опоясалъ ею мѣстечко.

Эстеръ зоветъ меня въ синагогу. Я отказываюсь. Она, ничего не говоря, уходитъ, а поздно вечеромъ стучится въ окно. Впускаю ее.

— О чемъ ты думалъ?—спрашиваетъ она.

— Ни о чемъ. Слушалъ, какъ тикаютъ часы.

Колышется истрепанная занавѣска. Иду прикрыть окно, но возлѣ стола задерживаюсь; Эстеръ спрашиваетъ, почему я отказался пойти въ синагогу. Сажусь къ столу и слушаю. Мигаетъ лампа, и еще сильнѣе треплется занавѣска.

— Почему? Столько лѣтъ не былъ и даже не потянуло?

— Молиться?—усмѣхаюсь я. За удачу? Богу Авраама, Исаака и Иакова?

— Не говори такъ. Нельзя смѣяться надъ этимъ. А въ Парижѣ... Вспомни, какъ ты и многіе другіе бѣгали на Пасхѣ въ русскую церковь. Ты тогда тоже смѣялся? Тебя потянуло? Тогда ты былъ взволнованъ. Помнишь, ты говорилъ о какой-то сладкой грусти. А здѣсь у тебя только усмѣшка. Вѣдь это чудовищно, это слѣпота.

Я внимательно гляжу на нее. Она нѣсколько мгновений колеблется и уходитъ, ничего не говоря, не прощаясь. Я не иду

за ней, не зову. Тушу лампу и остаюсь въ темнотѣ. День прожить, канулъ, и я имѣю право на отдыхъ. Ночью всѣ отдыхаютъ: и тѣ, кто въ синагогахъ молятся, и тѣ, кто въ церквахъ.

IX.

Наступаетъ новыи день, пасмурный, какъ больной старикъ, и, словно старческія безсильныя слезы, падаютъ рѣдкія капли дождя.

— Зачѣмъ ты привезла меня сюда? — спрашиваю я Эстеръ. Улавливаю тоску въ своемъ голосѣ и заранѣе знаю, что тоскливъ будетъ ея отвѣтъ. Вспоминаю, какъ нѣкогда я называлъ ее „сѣверной“. А сейчасъ она въ платочкѣ, поникшая, грустная, въ черной коротенькой жакеткѣ и до страннаго похожа на здѣшнихъ дѣвушекъ, кажется мнѣ ихъ родной сестрой, неотдѣлимой. „Евреечка“,—вспоминается мнѣ. И хочется обнять ее, утѣшить въ чемъ-то, въ чемъ-то разувѣрять любовно, ласково и куда-то увести, а вмѣсто этого я настойчиво и сухо спрашиваю, зачѣмъ она привезла меня, говорю ей, что ничего новаго я отъ нея не жду. Съ каждымъ словомъ я дальше и дальше отхожу отъ нея и только изрѣдка, взглядывая, припоминаю: „евреечка“. Тогда мои собственныя слова кажутся мнѣ ненужными, но я продолжаю говорить.

— Ничего новаго. Ново было твое приглашеніе въ синагогу, но и это въ сущности старо. Очень старо: я долженъ покаяться, и для этого прежде всего необходимо вернуться къ своему Богу, забытому, старому Богу. Ты идешь къ Нему, я не иду, я не знаю Его. Въ Парижѣ, когда ты рассказывала мнѣ о своей поѣздкѣ въ Лондонъ, я подумалъ: я останусь одинъ. Но потомъ я самъ надъ собой размѣялся. И видишь, напрасно: я одинъ. Тебя нѣтъ, нѣтъ Бориса. Акимъ тебѣ чужой. Все не еврейское ты принимаешь, какъ враждебное. Они насъ не любятъ, говорила ты. А ты ихъ любишь? Да почему, наконецъ, не заглянуть правдѣ въ глаза? Сотни лѣтъ евреи твердятъ: антисемитизмъ, антисемитизмъ, но почему они боятся такъ же открыто, какъ открыто заподозрѣваютъ и обвиняютъ другихъ, сознаться въ своей нелюбви къ другимъ? Евреевъ должны всѣ любить. Почему такъ? А если не любишь, то ты конченный человѣкъ. Говорить объ отрицательныхъ сторонахъ евреевъ преступно, а самимъ о другихъ можно. Погляди на себя... Во всемъ и всюду ты видишь враговъ, болѣзненно, какъ только могутъ одни евреи. Придираться къ каждому слову, къ каждому движенію, выискивать, подходить ко всему съ подозрѣніемъ, болѣзненно и унижая самого себя. Развѣ это не

униженіе? Кто гордь, тотъ не подозрѣваетъ и не выискиваетъ. А ты ихъ любишь? Ты уже въ Парижѣ знала, что Акимъ будетъ съ нами. И тогда онъ былъ чужимъ? Глаза у тебя открылись? Новообращенная? А гдѣ они были раньше? Слѣпой была? Теперь ты зрячая, а я слѣпой? Ты говорила мнѣ въ лѣсу: бѣдный ты мой. Ты меня жалѣешь, ты плакала надо мной. Почему ты надъ собой не плачешь, потерявшей все, чѣмъ жила раньше? Ты отказываешься отъ дѣла при словѣ погромъ. А если такъ? Но ты вѣрила въ наше дѣло. Сегодня нельзя изъ-за посторонняго лица—кучера, жены, рабочаго, все равно. Завтра снова препятствіе—будутъ избивать интеллигенцію; потомъ опять нельзя—будетъ погромъ. Но ты говоришь, что русскимъ можно, только не евреямъ. Нельзя евреямъ, еврей не смѣетъ шагу сдѣлать, иначе пострадаютъ другіе евреи. Какая-то круговая порука, рабская, трусливая. Такая мысль можетъ появиться только среди трусовъ, только среди рабовъ, покорныхъ и въ то же время злобствующихъ. Но вѣдь высшее есть. Должно быть, иначе все нуль, иначе надо заранѣе сложить руки. Я не хочу и не складываю руки. Ты меня пугала послѣдствіями, о нихъ напоминалъ мнѣ Борисъ. Я ихъ не боюсь, я ихъ не знаю и не хочу считаться съ ними. И оба вы отошли. Борисъ поѣхалъ въ К., но съ какимъ чувствомъ—я знаю. Я заставилъ его поѣхать. Что-жъ, упрекай меня, я себя не упрекаю. Если бы я могъ заставить тебя,—я бы это сдѣлалъ, не колеблясь. Ты отошла—я иду дальше, я съ тѣми, кого ты не любишь. Ты остановилась на полпути, а я дойду, Эстеръ, во что бы то ни стало. О чемъ еще говорить? Все сказано и все ясно.

Опять, какъ въ лѣсу, она тянется ко мнѣ, хочетъ взять мои руки; опять, какъ въ лѣсу, она съ болью говорить:

— Я не могу такъ... Ты ничего не видишь.

Я отдергиваю руки.

— Сапа, всей очевидности.

Въ ея глазахъ слезы. Она сейчасъ уйдетъ и у себя въ крошечной комнаткѣ, гдѣ висятъ портреты знаменитыхъ раввиновъ, будетъ долго и глухо плакать, а за стѣной пронзительно заголосятъ грязныя дѣти; но мнѣ все равно, рыдаетъ она или радуется: мнѣ холодно, и я не знаю, для чего люди плачутъ и радуются.

Х.

Мучительно, но я слушаю. Иногда хочется взглянуть на Эстеръ и улыбнуться, показать ей, какъ я спокоенъ; но не отхожу отъ окна и слѣжу за грудами темныхъ облаковъ. Сталки-

ваясь, они поднимаются горой и вдруг исчезают, оставляя за собой горсть сиротливых мелких звѣздъ. Эстеръ говоритъ, я ее не перебиваю. Она проситъ выслушать ее. Развѣ я этого не дѣлаю? Я выслушивалъ ее, Бориса. Я слушалъ и видѣлъ, какъ растутъ слова, точно снѣжный комъ. И онъ покатился, онъ катится; онъ отбиваетъ ноги, мѣшаетъ въ пути, но я слушаю.

— Говори, Эстеръ, говори.

Она прячетъ тревогу, но я вижу ее, какъ вотъ это шоссе, бѣгущее мимо моего окна. Въ такую ночь хорошо попасть на неизвѣстную дорогу, бродить по ней, не зная, куда она приведетъ, и только видѣть, какъ скользятъ по небу облака, какъ проходятъ неторопливо верстовые столбы.

— Говори, Эстеръ, говори.

— Ты былъ слѣпъ...

Накинула платокъ на голову, сидитъ съежившись. Выступили узенькія плечи. Бѣдная, обиженная всѣми евреечка. За окномъ, такъ же съежившись, притулилось мѣстечко... Евреечка... евреечка...

— Руки мои слабы... Удержать тебя... Не пустить тебя...

Ниже опускаетъ голову, выбились волосы изъ-подъ платка.

— Эстеръ, я слушаю тебя.

— Какъ ты это говоришь!

— Просто.

— Неправда. Я вѣдь чувствую.

Измученными, но горящими глазами останавливается на моемъ лицѣ, и тогда я думаю: „еврейскіе глаза“.

— Мнѣ хоть не лги. Вѣдь я вижу все. Слишкомъ хорошо. Ты не можешь быть спокоенъ, ты не можешь отнестись равнодушно. Ты другой, не прежній. Я плакала надъ тобой. Да, и буду. Ты измученъ, разбитъ. Вотъ... расколоть ты. А ты намѣренно гнешь себя. Вѣдь я вижу. Хочешь заставить себя быть прежнимъ и не видишь, что прежнее уже умерло. Ты хочешь отвернуться отъ того, отъ чего нельзя отворачиваться, преступно. Пришло новое, помѣшало, расколело тебя, а ты... Ты хочешь отвернуться. Какъ будто ничего не было. А вѣдь оно есть. Оно напоминаетъ о себѣ на каждомъ шагу и будетъ напоминать. Неизбѣжно, настойчиво. Когда я говорю тебѣ: бѣдный ты мой—это такъ. Но ты хочешь скрыть, показать, что все благополучно. Благополучно? Посмотри на меня, посмотри. Вѣдь все, что происходитъ въ тебѣ, было во мнѣ, поэтому меня не обманешь. Вѣдь это мое, твое, наше... еврейское. Ты не знаешь, ты даже не дозрѣваешь, какъ твердо сидитъ въ тебѣ еврей. Это упорство,

вопреки очевидности, эта... изступленность и разладъ, вѣчный разладъ. Ты говоришь, кто гордъ, тотъ не подозрѣваетъ. Не правда. Не подозрѣнія—очевидность. А ты боишься ея. Ты не можешь согласиться, потому что тогда надо отойти отъ всего того, съ чѣмъ былъ связанъ раньше. Все это происходило со мной, но я женщина и не могла скрыть. Иногда мы въ своемъ безсиліи болѣе сильны, чѣмъ вы. А ты скрываешь, ты насильственно коверкаешь себя. Ты уже не прежній. Новымъ пахнуло, и это новое, родное, кровное, къ чему должно потянуться. Не думай, не тотъ трусь, кто сознается. Вѣдь это новое—великое. Вѣдь это то, чѣмъ жива жизнь, а въ этомъ признаться развѣ преступно? А ты хочешь попрасть живое. Я знаю, мучительно узнать вдругъ, что все прежнее было построено на лжи. Мнѣ легко было? Если бы я знала, что дальше дѣлать! Но я еще не знаю, я еще не пришла въ себя, я еще не вижу дальнѣйшей дороги. Я только узнала, что съ прежней надо свернуть. Я свернула. Я сейчасъ полумертвая, но гдѣ-то въ душѣ, глубоко, глубоко есть надежда найти эту дорогу. Надо только съ силами собраться. Я сейчасъ такъ устала. Вѣдь даромъ не проходятъ такія перемѣны. Но то новое, что я сознала, несетъ въ себѣ живые соки. Они напоятъ меня, дадутъ мнѣ силы. Не могутъ не дать; иначе, гдѣ же правда? Ты смѣялся, когда я говорила: мой народъ. Ты усмѣхался, когда я говорила, что есть тысячи нитей. Саша, ты ихъ почувствуешь.

— Говори, Эстеръ, говори.

— Ты будешь продолжать дѣло—знаю, ты на все идешь, знаю. Но помни, этимъ ты такъ туго натянешь нити, что не сможешь не почувствовать ихъ. Я знаю, онѣ не порвутся, не объ этомъ моя боль, ихъ много разъ туго натягивали, а онѣ живы до сихъ поръ... За тебя боль, за твою будущую муку. Ты не знаешь, что ждетъ тебя. Ты не знаешь, какой ужасъ будетъ. За тебя боль. Ты не выдержишь, ты надорвешься, не хочу, не хочу этого. Не могу! Ты не знаешь, что ты берешь на себя. Ты не знаешь, что встрѣтишь. А тѣ... къ кому ты вернешься... поймутъ тебя? О, нѣтъ! Оцѣнять твой поступокъ? Пройдутъ мимо твоей души, не остановятся, не заглянуть и за тобой не увидятъ, не примутъ твоей тяжести. Они не согнутся. Ты согнешься. Тебѣ не помогутъ нести. Имъ она чужда. На тебѣ останется, тебя пригнетъ. Я уже не говорю о тѣхъ, кого ты въ мукѣ оставишь на улицахъ К. Страшно говорить, страшно подумать объ этомъ. Да, возможно, что погрома не будетъ. Но развѣ, развѣ отъ этого твое безуміе становится оправданнымъ? Ты вѣдь идешь на это. Ничто не мѣ-

няется. И въ этомъ весь ужасъ. А тѣ, къ кому ты вернешься... Что они дадутъ тебѣ? Саша, я ихъ не виню... Вѣдь это просто... какъ сытый не понимаетъ голоднаго. Они чужіе. Ты говоришь, что я ихъ не люблю. Можетъ голодный любить сытаго? Но они... всегда не любили насъ, даже когда сажали за свой столъ. Всегда считали насъ прихлебателями. Даже когда мы шли съ ними рядомъ и, какъ они, несли свои жизни, свои души. Но это чувство они прятали отъ насъ. Кипѣло кругомъ, все казалось въ розовомъ свѣтѣ и не до того было. Революція кончилась, и съ ней кончилась идиллія. Теперь можно не прятать. И многіе, многіе не прячуть. Остальные—это только вопросъ времени. Но ты ничего не видѣлъ.

Я насмѣшливо перебиваю ее:

— Ты убѣждена?—и прячу глаза. Не хочу слушать и прислушиваюсь.

— Сегодня слова о еврейскихъ деньгахъ... Завтра о чрезмѣрномъ количествѣ евреевъ-революціонеровъ... Потомъ о специфическихъ отталкивающихъ чертахъ... Политика запрещаетъ говорить объ этомъ; нельзя, мы подъ однимъ флагомъ. Но когда флагъ немного спущенъ... Тогда... Но ты не прислушивался, ты проходилъ мимо. А вѣдь это были искреннія слова... Нѣтъ эллина и іудея... Это политика, флагъ. А жизнь, голая обыденная жизнь... Она показываетъ другое: чужіе и вѣчно будутъ другъ другу чужіе... Но ты видѣлъ только флагъ. Вспомни... Мнѣ тяжело объ этомъ говорить. Я хочу сказать про Нину... Когда Шурку надо было отвезти въ Россію. Вспомни, какъ Нина не хотѣла отдавать его твоей матери. А вечеромъ... Я пришла... Тебя не было дома. Нина, волнуясь, забыла, кто я, забыла о своей нелюбви ко мнѣ и стала говорить... Я помню каждое слово. Такъ отчетливо, такъ ясно. Предо мной сидѣлъ человѣкъ, душевно не любящій еврейскую среду, евреевъ, считавшій, что ея сынъ не долженъ быть тамъ. Но вѣдь это и твой сынъ,—сынъ русскаго революціонера. Твоя жена, скажешь ты. Господи, конечно, твоя жена,—жена еврея, но и мать. И мать не хочетъ свое кровное видѣть среди... Не буду больше, прости...

Жалобно улыбается.

— Прости, ради Бога.

— Договаривай, не бойся.

— О Нинѣ мнѣ тяжело...

Съ усиліемъ говорю:

— А я тебя очень прошу. Ну, что еще было съ Ниной?

— Это все.

— Ты говоришь неправду.

— Все, Саша, право, все. О Нинѣ—все! А когда Бергманъ говорилъ на собраніи. Я пріѣхала позже. Но успѣла, какъ успѣла въ Лондонѣ... Официально все обстояло благополучно. Но за кулисами? Не въ официальныхъ кругахъ, а тамъ, въ глубинѣ, гдѣ все не казенное, не напоказъ? Вся горечь разбитыхъ надеждъ кому предназначалась? Бергману, мнѣ, тебѣ, всѣмъ намъ. Ты говорилъ о круговой порука. Но есть еще одна круговая порука, и ею насъ связали. Они, съ кѣмъ мы шли рука объ руку. Когда выдаетъ Никитинъ или Архиповъ,—нѣтъ этой круговой поруки. А вѣдь революціонеры-то мы всѣ. Но если вмѣсто Никитина еврей? Ты прислушивался? Тогда забывали о революціонерѣ, а только помнили, что провокаторъ—еврей, и высчитывали, сколько было такихъ негодяевъ-евреевъ. И каждого ставили намъ въ вину, намъ, какъ еврейству. И каждый такой негодяй являлся лишнимъ камнемъ въ нашъ огородъ. Да, да! И кто? Свои же товарищи, словно вся суть въ томъ, что предатель—еврей. Но ты этого не видѣлъ, и многіе изъ насъ, а, наоборотъ, даже среди насъ, евреевъ, бывали такіе, что сами себя грызли за это, сами же себя унижали: ахъ, представьте себѣ, опять еврей, ужасъ! Да, ужасъ, но не въ этомъ, какъ нѣтъ ничего ужаснаго для русскихъ, какъ для русскихъ, что и среди нихъ бываютъ негодяи. А для насъ ужасъ, насъ можно за это обвинять, коситься на насъ, высчитывать, какъ велико ихъ число.

— Говори, Эстеръ, говори.

Съ усиліемъ повторяю все:

— Я тебя не перебиваю.

— Ты не хочешь открыть глазъ. Я это дѣлала, но боялась повѣрить себѣ, а когда наступила темнота предательства, намъ устроили эту темноту. Во имя круговой поруки. Мы были изгоями среди своихъ. Свои! Ложь это. Сейчасъ она еще не часто напоминаетъ себя, но чѣмъ дальше, тѣмъ больше она растетъ. Идетъ изъ Россіи въ Парижъ, изъ Парижа обратно въ Россію, питается какими-то соками, и между ними и нами кладется кирпичъ за кирпичомъ. Да, чужіе. Да, мнимая любовь, Саша, а ты вѣришь. Ты заставляешь себя вѣрить. Ты пошелъ и уже не хочешь оглянуться. Оглянись, только оглянись! Милый, что ты дѣлаешь? Ты душу убиваешь. То живое, то великое, чѣмъ она живетъ. Ты усмѣхаешься, когда я произношу „еврейскій народъ“, а, говоря „Россія“, усмѣхался? Найди въ себѣ такія же силы понять и это слово. Вѣдь это свое, такое кровное, такое неотдѣлимое, а ты хочешь оторваться. Ты знаешь, что свершится, и ты

все же идешь. Это безуміе. Гони меня, кричи на меня, что хочешь дѣлай, но это такъ. Хоть разъ открой глаза, пойми себя. Господи, и въ этомъ безуміи скрывается еврей. Только еврей можетъ на это руку поднять... Словно какое-то проклятіе тяготѣетъ надъ нами. Ты слышишь? Саша, ты слышишь?

— Слышу.

Я все слышу. Я слышу, какъ минуты бѣгутъ, какъ шуршить за окномъ опавшій листь. Такой же шорохъ въ душѣ. Слышу, какъ Шурка произносить „бабушка!“ Слышу, какъ Эстеръ плачетъ. Нина тоже плакала. Но это было такъ давно, когда-то... Когда-то я переѣзжалъ границу, услышалъ вечерній звонъ и хотѣлось радостно заплакать. Радость, которой нѣтъ названія. Потомъ я стоялъ у дверей синагоги. Горѣли свѣчи, покачивались головы. Когда-то мой отецъ, мой дѣдъ такъ же покачивались, и тоже горѣли свѣчи, робко, боязливо, какъ взоры павшихъ. Я постоялъ недолго и отошелъ. Ничто не шевельнулось во мнѣ. Еврей въ грязномъ воротничкѣ открылъ мнѣ дверь гостиницы и подобострастно улыбнулся. Онъ тоже способенъ на безуміе? Я ему далъ на чай. Я все слышу.

— Саша, только не молчи!

Это проситъ Эстеръ. Когда-то Нина просила меня не уѣзжать, а я уѣхалъ. Я подхожу къ Эстеръ. Я помню: „гони меня, кричи на меня, что хочешь дѣлай...“

— Есть средство,—говорю я.

Она силится понять меня.

— Возьми свои деньги.

Молчить.

— Возьми свои деньги,—повторяю я.—Онѣ твои. Этимъ ты меня обезоружишь. Безъ нихъ я человекъ съ голыми руками. Смѣшно что-нибудь дѣлать голыми руками.

— А если... я возьму?—она спрашиваетъ неслышно, только рѣсницы дрогнули, а руки, словно крошечныя, безпомощныя дѣти, зашевелились подъ платкомъ.—Только правду говори.

Я помню: „кричи на меня, что хочешь дѣлай...“

— Я покончу съ собой.

Молчить. Тѣнь пробѣжала по ея лицу, смѣнилась растерянной улыбкой, и снова лицо потемнѣло.

— Что же ты не отвѣчаешь?—спрашиваю я. Все ближе иду къ ней, вижу, какъ она целовко и угловато согнулась.

Нагибаюсь къ ней:

— Теперь удобная минута. Ты можешь сразу прекратить это... какъ ты называешь, безуміе. Только стойтъ тебѣ сказать: отдай.

Я отдамъ, деньги твои, еврейскія деньги... Требуи же ихъ, бери ихъ обѣими руками, онѣ твои.

— Я не возьму.

Я изумленно останавливаюсь, хочу усмѣхнуться.

— Ты?

...Подняла голову, какъ-то свѣтло посмотрѣла на меня немигающими глазами, были они измученные, потухшіе, и тихо сказала:

— Я не могу... Я думала объ этомъ... Не могу. Я люблю тебя.

Я хочу забыть послѣднія слова Эстеръ. Я ихъ забуду, иначе я не дойду: они подавляютъ меня, они тянутъ меня назадъ, а я долженъ дойти. Я долженъ, другой долженъ, третій. Всѣ мы должны. Кому? Я ихъ забуду. Бываетъ такая тяжесть, которая самымъ крѣпкимъ плечамъ не подь силу. Но я сказалъ ей правду: если бы она взяла деньги, я бы покончилъ съ собой. „Свѣтъ, свѣтъ“,—какъ давно это было. Стелется вдоль окна дорога. Голая, непривѣтливая. До станціи десять верстъ, но я успѣю до свѣтла дойти. Мнѣ бы хотѣлось, уходя, заглянуть къ Эстеръ въ окно. Не надо, не надо! Дорога лежитъ позади ея дома, огибаеть мѣстечко. Смѣшно заглядывать въ чужія окна. Смѣшно, когда террористъ разсуждаетъ въ заброшенномъ мѣстечкѣ о томъ, кто онъ: еврей или... Или-или. Все смѣшно, все слова, но я ей сказалъ правду: я бы покончилъ съ собой.

Какъ хочется пить! Но вода въ сѣняхъ, я боюсь разбудить хозяйку. Я напьюсь гдѣ-нибудь по дорогѣ. Вонъ она за окномъ— близкая и чужая. Лампа догораеть. Гаснетъ. Значить, время бѣжить, значить, все ближе часъ.

XI.

Мнѣ казалось: прошло столько лѣтъ, и я, конечно, не смогу узнать улицу, гдѣ я жилъ, домъ, гдѣ родился. Мнѣ казалось, на меня глянетъ чужой городъ. Но какъ все памятно. Противъ почты та же горбатая старуха, тотъ же лотокъ сластей. Еще жива! Мы ее звали „спичкой“. Дразнили, и она вспыхивала, гналась за нами, шипѣла, а потомъ благосклонно вступала съ нами въ переговоры. И вывѣска та же. Ванна, а въ ней двое голыхъ ребятъ... Старательно выведенный указательный палецъ... Сихъ дѣлъ мастеръ... Тогда ее только что нарисовали. Взрослые смѣялись втихомолку, а мы бѣгали къ ней ежеминутно. Милая, смѣшная вывѣска! Мимо, мимо! День идетъ къ концу, надо торопиться.

Если я буду останавливаться на каждом углу, я не дойду сегодня. Развѣ я пріѣхалъ разсматривать старья, глупыя вывѣски? Разговаривать съ горбатыми сморщенными еврейками? Вотъ эта... она жила на нашемъ дворѣ, я сразу узналъ ее. Я помню ее, приходила къ намъ, къ моей матери. Помню ее мужа токаря. Въ его мастерской мягко шуршали пахучія стружки, нѣжно отдаваясь рукамъ, а добрые глаза хозяина смѣялись и говорили: бери, бери. Шарикъ деревянные, изумительные шарикъ для игры, палка съ настоящимъ набалдашникомъ въ крапинкахъ, гладкая, точеная. Гдѣ же онъ? Умеръ? Подойти къ ней, спросить? Мимо, мимо! Шарикъ теряются, люди умираютъ... и тихія радости души.

— Городовой, гдѣ Житомирская улица?

Отъ городского несетъ водкой и ваксой. И его я знаю, и его помню. Круглый, какъ тумба, и эти памятные раскосые глаза.

— Выпилъ?

— Такъ точно. Съ пріѣздомъ, баринъ.

— Что?

— Съ пріѣздомъ, говорю. Видать, что новый. Очень вамъ благодарствую. Направо, а тамъ ужъ и Житомирская.

— Спасибо, Жижелюкъ.

Подвыпившіе глаза, недоумѣвая, заморгали, задвигался жирный, добродушный подбородокъ.

Быстро ухожу. Теряются шарикъ, люди умираютъ, знакомые, добродушные городовые пзбиваютъ. Все объяснимо, все просто. Сорокъ третій номеръ, сорокъ третій... Еще два дома. Грязная, мокрая лѣстница. Дверь, обитая рваной клеенкой. Стучу и слышу, какъ за нею кричатъ:

— Минке, стучать!

— Слышу.

— Поди, открой!

— Сама открой.

Снова стучу. За дверью что-то упало, прогремѣло.

— Вамъ кого? Что?

Спрашиваютъ по-русски.

— Симоховичъ здѣсь?

— Симоховичъ? Онъ уже взялъ и уѣхалъ.

— Когда?

— Это вамъ нужно знать? Вчера. Вы ему родственникъ? Ну, я не знаю, куда. Минке!

Я опять на улицѣ. Борись уѣхалъ, вчера... Изъ города, навсегда? Не можетъ быть! Онъ здѣсь, онъ долженъ быть здѣсь. Усмѣхаюсь: а гдѣ я былъ? Хочется что-то стряхнуть съ себя,

что-то забыть. Когда-то въ дѣтствѣ я укралъ у взрослыхъ папиросу и закурилъ. Было гадко и тошно... какъ сейчасъ. Иду дальше... Одни ворота, другія, третьи. Скоро ихъ закроютъ—уже суетятся дворники. Темнѣетъ. Но я найду его! Съѣхалъ съ квартиры, но будетъ ждать на улицѣ. Я уже прошелъ всю улицу, надо снова обратно. Замѣтять? Глупости. Городъ большой, людей много. И вдругъ вспоминаю: родной городъ. Кто-то трогаетъ меня за рукавъ, оглядываюсь и вижу Бориса. Не удивляюсь и беру его подъ руку:

— Я тебя не видѣлъ.

Онъ нерѣшительно мнется на мѣстѣ, хочетъ обнять меня и тревожно оборачивается:

— Я стоялъ за воротами. Весь день я тутъ. Пришлось съѣхать съ квартиры... Потомъ расскажу. Какъ по-твоему, мы не обратимъ на себя вниманіе?.. Ты давно здѣсь?

— Часа два. Идемъ, можешь успокоиться.

Золотыми точками рассыпались фонари, людскія фигуры какъ-то уменьшились, улица сузилась, и глуше стали голоса. Изъ оконъ лавчонокъ потянулись жалкія блѣдныя полосы керосиновыхъ лампъ.

— Что, все идетъ хорошо?

Онъ не отвѣчаетъ, а когда мы, свернувъ съ площади, подходимъ къ почтѣ, онъ спрашиваетъ:

— Узнаешь?

Крѣпко, до боли сжимаетъ мою руку.

— А наши ворота ты узналъ? А „спичку“ ты видѣлъ? Я у нея вчера купилъ маковку. Такую же твердую, какъ мы всегда покупали. А ты видѣлъ наши окна? Тамъ теперь висятъ красныя гардины, а у насъ были бѣлыя занавѣски. А вывѣску ты видѣлъ? Когда я вышелъ изъ вагона, я похолодѣлъ. Все, каждый переулочекъ, каждое лицо дорого. До сихъ поръ холодно и страшно.

— Одѣвайся потеплѣе.

Онъ останавливается, негодуяще вырываетъ руку.

— Идемъ,—тяну я его.—Видишь, кто-то оглянулся. Не забывай, кто мы. Разъ—и крышечка.

Тяну его и говорю:

— Идемъ. Не забывай, а все остальное сказки. Слышишь, бредни и сказки. Старые дома, старыя вывѣски, старыя еврейки, старыя добродушные городовые. Все сказки. Сантиментальныя старыя сказки. Даже молодыя еврейки. Итакъ, все идетъ хорошо?

Онъ, молча, киваетъ головой.

XI.

Въ двухъ-трехъ словахъ Акимъ рассказываетъ о томъ, что было сдѣлано за эти дни. Онъ поступилъ сторожемъ въ гимназію. Удалось легко. Для Бориса нашлась квартира поблизости. Теперь районъ таковъ: гимназія, садъ, двѣ боковыхъ улицы и въ углу губернаторскій домъ. Возиться съ фотографіей не стоитъ, разъ нѣтъ Эстеръ. Акиму отведена въ гимназіи отдѣльная комната. Замянить фотографію. Крошечная, почти негдѣ повернуться, но зато просто и незамѣтно.

— Первое время я не буду вылѣзать на свѣтъ Божій, только иногда. Придется вамъ двоимъ разгуливать. Когда все сдѣлаю, присоединюсь къ вамъ, тогда раздѣлимъ между собой. Надо одну испробовать. Въ слѣдующее воскресенье я свободенъ весь день. Успѣю испробовать, это нетрудно. Я уже себѣ мѣсто намѣтилъ, за рѣкой, возлѣ старыхъ дачъ. Вотъ тутъ...

Бѣгаетъ палецъ по плану. Нагибаясь, прислоняюсь головой къ плечу Акіма. Онъ торопливо отодвигается. Мнѣ кажется, онъ досадливо повелъ плечомъ, но тотчасъ же забываю объ этомъ и слушаю внимательно. Коротко условливаемся, гдѣ намъ завтра встрѣтятся, и собирается уходить. Я его не удерживаю:

-- Прощай!

Ушелъ. Ни о чемъ не спрашивалъ. Если бы онъ зналъ, какъ я ему за это благодаренъ. Когда-то и я спрашивалъ, но вѣдь это было много лѣтъ тому назадъ. Сейчасъ придетъ Борисъ. Онъ будетъ спрашивать! Про Эстеръ, про мѣстечко, будетъ говорить о холодѣ, о томъ, что страшно быть въ родномъ городѣ. Если бы можно было прикрыть голову и ничего не слышать. Ничего! Дребезжить звонокъ. Онъ идетъ. Вздоръ, ничего нѣтъ страшнаго, нѣтъ никакого мѣстечка, нѣтъ Эстеръ. Есть только врагъ, и мы, нападающіе. Если врагъ не спитъ—не спятъ нападающіе, не спятъ и не копаются другъ у друга въ душѣ. Я твердо помню одно: двѣ боковыхъ улицы, а въ углу домъ. Теперь очередь за мной. Надо наверстать ушедшее время. Семь дней меня не было, цѣлыхъ семь дней. Я ихъ отнял у дѣла. Нельзя простить себѣ. Въ эту минуту я ненавижу себя, съ отвращеніемъ гляжу на свои руки. И хочется заломить ихъ. Скрипитъ лѣстница... Я быстро прихожу въ себя, а когда входитъ Борисъ, я уже спокоенъ. Но я не ошибся: сказавъ нѣсколько словъ о дѣлѣ, онъ тотчасъ же спрашиваетъ про Эстеръ. Осторожно, стараясь это сдѣлать незамѣтно, я отклоняю его вопросъ, но онъ снова возвращается къ нему. Я встаю.

— Ты для этого пришел? Не стоило.

Онъ пытливо глядитъ на меня.

— Почему?

— Излишне. Всѣ эти разговоры о родныхъ городахъ, о Эстеръ, объ ея отказѣ и о прочемъ мнѣ надобли.

— Для тебя это только „прочее“.

Волнуясь, онъ краснѣетъ.

— А что же? Я приѣхалъ не для этого. Хочется думать, что и ты не для этого покинулъ Парижъ. Это болѣе, чѣмъ смѣшно. Слушай!

Я стараюсь говорить мягко, но что-то сдавливаетъ горло. Хочется крикнуть.—Гостиница,—вспоминаю я и продолжаю негромко и самъ прислушиваюсь къ своимъ словамъ.

— Слушай! Въздили до насъ другіе, зная, на что они ѣдутъ. А приѣхали мы и склоняемъ: еврей, еврея, еврею. Спрягаемъ: они могутъ, мы не можемъ... Одно другого стоитъ. Что же тогда наконецъ? Надъ нами всѣми виситъ какое-то предопредѣленіе? Всѣ мы должны теряться? До Вержболова все ясно, а за нимъ туманъ? Не хочу, понимаешь, не хочу вѣрить въ предопредѣленіе. Эти разговоры—развѣдающая ржавчина. Оставь ихъ!

— Боишься?

Весь изогнулся и настойчиво твердить:

— Боишься, ты боишься. Хочешь скрыть это. Голову запрягать. Боишься!

Внѣ себя отталкиваю его.

ХИ.

Сегодня я хочу безконечной ночи. Ночью можно громко спрашивать самого себя: боишься?—Ночью никто не услышитъ отвѣта. Никто не будетъ злорадствовать, только еще глубже станетъ тишина. И никого не придется отталкивать.

Я говорю себѣ: отвѣчай же, вѣдь день наступитъ и днемъ тебѣ придется многимъ заглянуть въ глаза, или ты будешь отворачиваться? Я вспоминаю: Бергманъ отвѣтилъ себѣ, ночью открылъ дверь и исчезъ незамѣтно, какъ незамѣтно пришелъ. Отворачиваюсь отъ двери, стараюсь не глядѣть на нее, но словно тянетъ меня кто-то, неизвѣстный, стоящій внизу, и у него длинныя, сильныя руки. Я съ дрожью передергиваю плечами. Холодно... И Борисъ говорилъ: холодно. Я ему посоветовалъ одѣваться потплѣе. Но когда страшно?

Утро идетъ. Сверкаетъ иней на крышахъ, серебряной полос-

кой протянулся на краю троттуара. Чье-то окно искрится подь солнцемъ. Задорно стучать на мостовой подковы. Иду внизъ. Девятый часъ, въ девять свиданіе съ Борисомъ. Надо отвѣтить себѣ... Возлѣ собора часы показываютъ девять. Надо отвѣтить себѣ... Но я не хочу опоздать: онъ опять станетъ спрашивать. Изогнется. „Опоздалъ, о чемъ ты думалъ?“

— Берегись!

Щелкаетъ кнутъ, ударило въ плечо. Я перехожу на другой троттуаръ. Иней растаялъ, на землѣ мокрѣя полосы. Прежнія, уродливыя крыши. Вхожу въ чайную и уже съ порога вижу въ углу Бориса, а надъ нимъ портретъ Пушкина. Дѣлаю надъ собой усиліе и, не торопясь, подхожу къ Борису. Я отвѣчу себѣ.

— Здравствуй. Ну, нашель?

Онъ сообщаетъ мнѣ о моей будущей квартирѣ. Запинается.

— Очень... удобно... потомъ... близко.

И вдругъ говоритъ:

— За вчерашнее... Прости меня.

Нѣтъ силъ взглянуть на него. Устало подпираю голову руками. Я хотѣлъ безконечной ночи, но утро пришло. Есть другое безконечное—дорога. Надо свести жизнь къ молчанію и итти.

Андрей Соболевъ.

(Окончаніе слѣдуетъ.)